

18+

Светлана Леонтьева

Однокоренные люди. Многотомник

Лирика для флейты
с оркестром



Светлана Леонтьева

**Однокоренные люди.
Многотомник. Лирика
для флейты с оркестром**

«Издательские решения»

Леонтьева С.

Однокоренные люди. Многотомник. Лирика для флейты
с оркестром / С. Леонтьева — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-694151-9

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН
И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Новая книга «Однокоренные люди» — книга лирики,
философская поэзия о нашем времени, людях и судьбах. Эмоциональность
и высшая степень обнажённость прекрасного сердца.

ISBN 978-5-00-694151-9

© Леонтьева С.
© Издательские решения

Содержание

ЛЫБЕДЬ	10
ИЗ цикла «Город из красного дерева»	11
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Однокоренные люди. Многотомник Лирика для флейты с оркестром

Светлана Леонтьева

© Светлана Леонтьева, 2026

ISBN 978-5-0069-4151-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Развалюха-горюха на отшибе села
покосилась, скрипит ржавью старых гвоздей.
Она домом была. Чьим-то славным была,
но хозяйки не стало. А как же быть ей?
Развалюха-горюха не может понять
то, что печь не протопят в ней жгучей зимой,
не приедет сынок, не обнимет он мать.
Расцепить как объятья избушки с землёй?
Очень хочется утром на солнце глядеть,
очень хочется петь у зимы посередь!
И у лета.
Ещё бы дожить до весны.
Будут яблоки осенью падать в траву
и на крышу, целуя, от счастья пьяны,
и захочется крикнуть: «Дышу я! Живу!»
Я, глядите, живу, у меня есть окно,
дверь дубовая, ей, может быть, всего сто
дней, ночей, лет. А, впрочем, сейчас всё равно.
У меня книжный шкаф есть, в нём Пушкин, Толстой,
Достоевский, Ахматова, Горький, Лесков...
Я пою!
Всякий полдень скрипит колесо,
всякий полдень мне свет.
Всякий полдень мне всё!
Всякий полдень мне — ночь,
всякий полдень мне — день,
всякий полдень мне — век,
пахнет, словно сирень!
Развалюха-горюха вопит: «Помоги!»
Стены выкрась!
Поправь моё тело с краёв.
Сколько выдержала я дождей и ветров.
Помню топот я каждой ребячьей ноги.
Помоги!

Помоги!

В зеркалах у меня отражается жизнь,
на кушетке лежит тёплый, плюшевый плед!

Я родная тебе. Место силы. Вернись.

Здесь женись.

Здесь плодись.

И вари здесь обед.

На рыбалку сходи, пескарей налови
по скрипучим мосткам, где тугой, синий пруд,
сколько дам я тебе моей верной любви!

...но не слушают люди.

И мимо идут...

Мама стирает в корыте бельё,
дым от горячей воды вьётся юркий.

Изнеможённые мамины руки...

Но как красивы они у неё.

Мыльная пена растёт, что цветы,
в старом корыте хрустят наши платья.

Я не видала такой красоты
более ни у кого, ароматней!

Мамочка... мама! В той мыльной воде
наши кофтенки, штанишки, фуфайки.

Что же я знаю о красоте?

О, неземной этих рук, красоте?

Нет мамы больше. Лишь руки порхают...

Руки стирают,

моют,

ласкают,

глядят меня по немой голове,
да по моим волосам гребнем алым.

Эта рука — до чего же худая,
но она добрая, словно бы Авель
и бескорыстна согласно молве.

Мама моя не была за роялем.

Мама совсем никогда не играла.

Но была музыка. Музыки много!

Виолончель, альты, дудочки, скрипки.

А после мамы — такого родного
мне человека — ни платья, ни нитки
не сохранилось письма, ни открытки!

Всё растеряла по воле я рока.

Что мне осталось? Вот это корыто
старое, ржавое. В нём мы весною
для помидор расставляем рассаду.

...Ты побеседуй, родная, со мною
музыкой рук твоих доброй и ладной!

ВАРЕЖКИ на РЕЗИНКЕ

Вперекор говорю тебе: «Русские зимы —
это снег невозможный, огромный, не тающий...»
По нему я иду.
Мне шесть лет.
Зла не иму.
И ношу, как и все, на резиночке варежки.
Они связаны, штопаны, вышиты бабушкой
из овечьего пуха, подшёрстка, из пряжева.
А резинка, пришитая ниткой по краешку,
ты же знаешь, как классно такой быть наряженной!
Ты же знаешь, как чудно такой быть красивою,
есть конфету прозрачной фольгой накрученной,
моя родина самая-самая лучшая,
мои варежки тёплые, что на резиночке!
Это было давно. И сейчас. И сегодня.
До того, как страна распадётся на части,
до талонов, майданов, до в школе учёбы,
института, залёта по девичьей страсти.
Это было во время тканья, шитья, прясла,
А название улицы Энтузиастов,
перекрёщённой с улицей Старых рабочих,
Моя родина — лучшая.
Очень-преочень.
За резинку потянешь: столько натащится,
вот клубки разноцветные, спицы, кудельки.
Не могу я предать ни отца и ни пращуров,
и словами, что родина и мы отдельно, —
ты меня убиваешь!
Не могут быть варежки
без вот этой резинки, что мягче фланельки,
как не могут без неба пушистые ласточки,
как не могут подъезды без ленинской лампочки!
Не судите историю, вы же там не были,
так же точно, как мы, по-житейски.
Не ходили по нашей тогдашней зиме вы!
Где за рынком всегда дребезжали трамваи.
Я сама, словно варежка этой кудели,
так внутри заболит,
коль резинку потянешь.

РЕПЕЙНИК

Знают каждый про нас, знаем все мы,
что в нас правильно, что в нас не так.
Мы, как эти поля, где репейник,
нет, не чудо-трава, а насельник,
коль прикрепится он на пиджак.
Коль прилипнет иголками остро
к юбке модной, шубейке, чулкам.

Он — репейник, о, как это просто,
летом цвёл, словно розовый остров,
не кичился, что я аз воздам.
Мы такие же — встали мы плотно
возле леса, болот, полыньи.
Даже мёртвые встали упёрто
и сцепили колючки свои.
Не такие, как все, не такие,
хоть умеем и шить, и плясать,
мы огромные люди, большие,
как сказал Достоевский: мы шире,
чем в Европу сквозь щели пролаз.
Там в их выпрренной Тьму-таракани,
где окраина наша сплелась,
как репейник речь липнет к гортани,
поперёк им язык нашей брани,
а у нас с нею кровная связь
с золотой, топкой, чёрной мулякой,
с каждой кошкою русской, собакой,
с каждой птицей, гнездящейся в ельник,
там наш русский расселся репейник
и цветёт себе понизу в вишнях,
им он лишний,
а нам он не лишний:
да с берёзовым соком, что дышит
многоцветьем, как Старый Арбат.
нам настойку с репьями алкать!

В РОЖДЕСТВО

Раба Божья Нонна Васильева там, в небесной палате,
там она в своей кельюшке, как и положено быть ей.
Кто же теперь будет шить мне стильные юбки и платья
те, что носила я в юности при коммунальном быте?
Эти оборки из кружев, эти обмётки и латки,
эти карманы пришьёт кто в жёлтых рантах, ну, скажи?
Мамочка, сшей мне, пожалуйста, длинное в клеточку платье!
Помню, иглою твоих я да узелков нажим!
Платье, как будто бы Китеж,
платье, как будто объятье,
платье, как будто распятье
правды и чуточку лжи...
А ты живёшь в своей кельюшке, Божья раба неотпетая,
Нонна Васильева — матушка, там ты прядёшь свою нить!
Как нам отпеть тебя? В небах ты.
Как окрестить? Коли не было
крестика, цепочки, крестника, как нам, скажи, с этим быть?
Батюшка во церкви Ольгинской прямо сказал: «Обращайтесь вы
в высшие во храмах офисы да с покаянным письмом!»

Может, и впрямь, это сделать нам? Просто пойти в Патриаршие,
в очередь встать, чтоб помиловал маму и нас всех при том?
В звон пяточков алюминиевый для подаяния кружечке,
в небо взвилась твоя душечка и нам оставила дом
вместе со швейной машинкою, стрёкотом швов ожемчуженных,
нитками да катушками возле сиротских окон.
Жизнь многомерней, однако же, хлеба умней она, Небушка
и полотна поумней она, кофточек, платьев да швов!
Улица наша Вишнёвая, дом наш небесная Сербия,
наша Россия огромная в платье из белых снегов!

ЛЫБЕДЬ

Мир ещё не распят, не болит,
не страшны ни любовь, ни погибель,
не змеится в гортани санскрит,
в древний мир всходит русская Лыбедь.
По Днепру, в утлой рыбьей ладье,
в красном, ярком плывёт сарафане,
из овечьей накидки в кафтане.
Так плывут от себя и к себе...
Жребий брошен! Русь раньше взошла,
раньше Рюрика, финнов, карелов,
раньше недругов — несть им числа,
мимо гор, рек и водоразделов.
Раньше встала и раньше пошла,
горсть воды зачерпнула, поела
у дубового накрест стола,
бредя нежностью, что без предела.
Говорит: «Люди-птицы мои!»
Говорит «Люди-звери пушистые!»
Приласкать вас до каждой ступни,
полюбить и прижаться неистово!
И бессмертна любовь никогда,
бредит Русью высокое слово.
Наша родина — Лыбедь-звезда,
мы — родня этой древнею кровью.
Лебединою, птичьей. В уста
наше прошлое хлещет сверх края,
оно вяжет как будто бы сталью
этим внутренним генным, хрустальным
так, как камень бы нас не связал!

ИЗ цикла «Город из красного дерева»

МИЛЛИОНКА

1.

Был семь-на-десятый век в Книге Песцовой:

название улицы Живоносная,

она «Миллионки» нашей основа,

её можно зреть на картине Маковского!

А башня стоит, словно красное дерево:

в честь церкви стоит Иоанна Предтечи,

растёт в наше небо квадратное черепом

своим треугольным, вырастает по плечи.

Пристройка для склада оружия разного
мушкетов, винтовок да пороха в ящиках.

То слева грозило Ордынство Ногайское,

то справа грозило нам Ханство Казанское.

Ивановская покрупнее всех башен,

стоящая прямо на спуске у Волги.

На нас нападали. Мы оборонялись.

Мы первыми сами не лезли, поскольку

мы — мирные люди

и нам чужда ярость.

А башня стояла во весь рост. Ветшала

от бури, дождей, от суровой погоды.

в осмнадцатом веке

тюрьма здесь бывала,

пожарная часть,

склад ютился во сводах.

На верхней надстройке архив помещался,

а в тридцать четвёртом двадцатого века

был склад химикатов в пустующей части,

так башня служила стране,

человеку!

Она и сама стала, словно живая,

коль фуникулёр заработал трамваем

к открытию Выставки рядом у церкви

для соединения нижних и верхних

трамвайных путей — в высь со скоростью метра

в секунду, со скоростью неба и света.

Конечно, диковинка для нас, туристов!

Я здесь у подножья — звук тихий и тонкий.

Вот так разговаривает «Миллионка»

на языке трав, камней, жёлтых листьев!

2.

19 век. Ночлежка Бугрова

Обычные нары из досок и дерева,

гурьба рыбаков, бурлаков и лудильщиков.

Ночлежка Бугрова на склоне Кожевенной,
входящих сюда было множество, ищущих
тепла и уюта, спасенья от холода.
Рабочий с седой головою, в кафтанчике,
ах, жизнь забубённая, что будет дальше-то?
Ах зелено-зелено, молодо-молодо!
Сидит белошвейка — промёрзшие пальчики,
в углу, в отделении женском за пряжевом!
Вот так девятнадцатый век и закончится
для этих людей на Широкой, Кожевенной
и на Рождественской синею ночною!
Рекою, как баржой будто беременной,
из дальнего времени всклень проплывает,
качаются волны боками тяжёлыми,
из-за обрыва выходит вторая,
рыбою волжской гружёная.
Будет обед для бурлацкой артели
из осетра, из севрюги, густеры,
будут лещей жарить в углях на мели.
Будут за ними глядеть староверы,
чтоб не дрались, не ругались, не пели.
А вот Устав. Помню каждое слово.
Принадлежавший перу Пушкарёва,
в нём обозначены цели приюта,
как приходить, уходить чтоб без смуты.
— Братцы, идите, пока ходят ноженьки!
— Братцы, летите, пока небо волглое!
Зелено-зелено, молодо-молодо!
3.
Как золотится река, серебрится!
Как из времён дальних солнце всплывает!
В веке осьмнадцатом были сараи
здесь деревянные: шли вереницей.
Девки гуляли в платьях из ситца:
синего, синего, синего ситца!
Я этот мир бы связала на спицах
да из вот той нити, что золотится,
так раздвигаю тела я людские,
каждого вижу!
Как площадь сутулится,
а я беременна этою улицей,
Живоносовскою званой впервые!
Словно под сердцем ношу её линии,
словно под сердцем струится источник
ниже кремлёвских стен, выше флотилии,
церковь, коль строена людом, не кончится...
Сколько бы мне не шептали столетия,
сколько бы шёпотом мне ни кричали,
знаешь, теки река, ибо свидетели

ты, я, она этих дней, этих далей!
Призраки прошлого нас не отпустят,
из Живоносной сделают устье,
башню отстроили, сделали сквер здесь,
то, что струилось повдоль запустенья,
и здесь поставили памятник в центре:
— Здравствуйте, царь наш, царь Пётр Первый!
Вдоль сих домов прохожу не утраченных,
вдоль всех домов, тех, что стали, как новые.
Встану на цыпочки: вижу Подновье
да Започаянье, башню Зачатскую!
Ибо без них жизнь не мыслю иначе я!

4.

...река Почайная асфальтом скованна.
Она по легенде впадала в Волгу.
Здесь в устье Почайной причалил Георгий
с дружиной своею с целью торговою.
Взглянул древний князь на лесистую местность,
взглянул князь Георгий и словно влюбился:
— Какие здесь кручи! Вцепились когтисто!
Вот именно здесь будем строить мы крепость.
Широкая улица — люди широкие!
У нас, на Руси, широки люди дюже!
Не надо, широким, искать пути лёгкие,
не надо глубоким, нам, быть простодушными!
С тех пор не одно просквозило столетие,
коль по указанью царя Николая
в трубу заковали Почайной скелетик
с левого края и с правого края.
Между Рождественской, между Кожевенной
есть переулок, зовущийся Рыбным,
здесь бечевую тянули, как время,
песней тянули «Ухнем!» охрипло.
(Ах, ущипните меня! Сон, не сон ли?
Вижу прошедшее и настоящее...)
Вижу картину «Зимой» Юона,
там лошади скачут в метели кружащейся.
Слава тебе, князь Георгий великий!
Слава тебе, Николай Первый царь наш!
...Улицу словно младенчика в зыбке,
между домов, город мой, ты качаешь!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. РАЗМЫШЛЕНИЯ

Под снегом, под ветром, под градом и дождиком
ты улица разве? Надета, что кожанка
на плечи домов. Запах неба и клевера —
зовёшься Кожевенная.
Ты вросшая, впаянная! Вот ручищи

твои каменелые! Ты хранишь время...
Здесь,
именно здесь
песня, пьеса, поэма
босяцкая про обитателей нищих
написана Горьким Максимом в те годы.
О, да, человек — так звучит это гордо!
Любой человек — и звучит это любо!
Слепой человек — и звучит это зряче!
Кожевенная, а чуть выше Телячья,
здесь раньше слободка была: кожедубы
трудились, жёг пар, ныли плечи и спины,
завод раньше был, здесь трудились мужчины.
О да, человек — как звучит это гордо!
Руками, обрубленными меня, город,
возьми обними! Вместо рук растут крылья!
Вот тут по Кожевенной улице тыльной
иду стороной, рву рубашки я ворот,
люби меня, город, есть повод!
Навстречу, о, не подведи меня, память,
идёт обитатель ночлежки Лука мне:
они оживают, они — персонажи,
вот Анна, вот Карповна, а вот Наташа.
Ночлежка, ночлежка, полно всякой дряни,
клопы, мошкара, мухи и тараканы.
А вот переулок — Кожевенный тоже,
здесь шили «голицы», рядили из кожи.
История города... город мой вечен,
покуда есть солнце, есть Волга, есть люди.
О, да человек — как звучит изумрудно!
О, да человек — как звучит звёздно, млечно!

Рождественская церковь

В нашей церкви Рождественской Спас-на крови
и она посредине огромной земли,
и она Спас-на правде и Спас-на любви,
ты постой рядом, возле,
мой каменный Храм,
если ляжешь, то я твоей буду травой,
отпевают впервой и венчают впервой,
каждым камнем цепляясь, тебя не отдам!
Эти женщины рядом — седа голова,
у меня коса крашена в розовый цвет.
Усмиряла себя, ибо я не права,
они старенькие так, как будто их нет.
Переносимся с Храмом мы вместе туда,
где сегодня война,
а война есть везде.

Не могу своего я жалеть живота,
я иду, и нет жалости мне в животе!
Ибо жалость одна: мало я родила
для Отчизны,
для родины и для страны.
Они были бы лучшими в мире сыны
наподобие сокола в небе, орла.
Мало я родила...
Храм, меня обними.
Нерождённые мне позвонят сыновья
прямо с передовой, ибо там все они,
и ещё нерождённая дочка моя,
у неё-то как раз эти — женские дни.
Подыши мне в затылок, кто ранен, живой,
это я, мой хороший, пластаюсь травой!
Это вы — нерождённые — сердца нажим
заставляете — надо! — кричите — Живи!
Это вы достаёте из всех передряг
и не только меня. Небо, рядышком ляг!

В нашем Храме на Рождественской

Тыл огромный, городской и деревенский,
площадной, универмаговый в снегах.
Как рубаха в кожу врос он, въелся,
не сносить таких, как он, рубах!
Тыл огромный — ртом от Кандалакши
в Анадырь сгребает высоту.
Красные, что кремль, пятиэтажки
близятся к надволжскому мосту.
В городище Новгороде Нижнем
высоко, а выше лишь народ.
Наше небо — синева, что дышит,
дышит так, как не в себя, а в свод!
И не смей кричать, к врагам сигая,
про страну, которая в войне,
это же страна твоя родная,
без поддержки очень трудно ей.
На кресте Святитель наш, а также
патины чернеющий оклад,
это всё безмерно просто наше:
церковь, храм и гвозди, что болят.
Обжигай уста, целуя глыбы,
ты не первобытный, не глухой:
ты не под водою нем, как рыба,
на земле ты славной, вековой!
Это — тыл, но тыла нету вовсе,
ибо нету тыла без войны.
Мы идём «на вы», на ты, на ны.

Мы идём и родину не бросим!

ЦЕРКОВЬ НА ИЛЬИНКЕ

Ах, Никола Угодник, моли ты о нас прямо в небо!
Мы — народ. Мы — простёрлись. Ты видишь нас всех пред собою.
Видишь бабушек, вяжущих спицами борисоглебно,
чтоб надели солдаты носки, коль зима, перед боем!
Видишь женщин, мужчин, что плетут масхалатные сети
для солдат под Авдеевкой, сети из белых верёвок.
Ах, Никола Угодник, моли, чтоб осталась на свете
наша правда одна, что грохочет повдоль перепонки.
Так колотится сердце, вот-вот и порвёт наши рёбра!
Подставляли мы левую щёку — вторую и третью.
Если б что-то смогли изменить мы во судьбах народа,
разве только самим измениться и стать Божьей твердью!
Что внутри прорастает у нас. И ты это всё видишь!
Я пришла ко твоей, я прильнула устами к иконе.
За себя ли просить? За детей? Да за мужа с поклоном?
Я прошу для сынов всей Руси, чтоб победный был финиш.
Чтоб у них — православных — всегда на груди крест посконный,
чтоб у них — мусульманин коль — пусть под рукою Коран был.
Вразуми ты безумных.
Ослепшим дай зренье.
Явь сонным.
Забинтуй, наложи жгут, укол дай, таблетки, кто ранен.
Мы — поля твои, Отче, мы — притча твоя та, что Тройка,
нас придумала Птица Угодника свет-Николая!
Мы идём целым войском, идём с золотого Востока,
наши деды так шли и теперь там же дети, шагают,
видно, участь у нас — из Сибири лохматой, Урала
со знамёнами, песнями в берцах идти в камуфляже.
Не хочу, чтобы нас и Россиюшки нашей не стало,
как не стало царя, СССР, полстраны моей даже.
«О, Пресветлый, Пречудный, утеше скорбящих, сподоби
от геенны избавиться нам! Коль Геенна восстала
и на нас потекла всей Европой, всей Польшей, всем гробом,
а в гробах те, кто наших прадедов убили, и всё-то им мало!
Помози отодвинуть их дальше туда, за Карпаты!
Помози всей Берлинской стеною восстать нам сегодня!»
Оттого-то и вяжут старухи носки из поднити лохматой.
Ибо знают: наденет носочки Сам Божий Угодник!

ДОМ С ПИЛЯСТРАМИ

Ни о липе, о доме, ни о пилястрах,
мне о вечном хотелось сказать человеку.
Но как всё-таки, вырубленная, напрасно
по весне плачет липа: и нету прекрасней

её всхлипов,
стенаний,
безумств и элегий.
О, как пахнет она.
О, как благоухает!
И что нету её, знать не знает она! И
листья бранные осенью, в голые ветки
своё тело попрятав, роняет; корнями
ищет век девятнадцатый — странный и редкий!
Город-Нижний, град-Новгород — благословенный,
отлучённый от церкви — воцерковленный,
отвергающий, кающийся, принимающий
бедняков да раскольников, польских изгнанников,
бунтовщик, ростовщик, декабристам товарищ — он,
каторжанам да ворах и прочим
карманникам.
Собирал ополчение. И это правда.
Если Град-на-Холме, Китеж-гард в его недрах.
Он хитрющ, аки лисы,
он хищник, а в-третьих,
он особого склада.
Как у дома ограда. Белёны фасады,
в золотистых платках маскарони-бабы.
Не сама ли Рябинина свет-наш Татьяна,
благоволящая, щедро церковь любившая?
Не скупясь, отдала на строительство с крышами
да на благоустройство
Храма!
Говорят, тысяч сто (так во книге сказали).
Но вот — липа! Она сквозь балкон в чистом зале
так цвела!
В нашей русской сердечной глубинке!
Даже птиц называли тогда по старинке
снегири-сизари, воробынки-ильинки!
А какой мёд тягучий был липовый в вазах,
положи на тарелку. Ешь булочку с маслом.
И, казалось, пока цветёт липа на склоне,
на вот этом, рябининском, чудо-балконе,
мир не рухнет!
Не сдастся мир! И не погаснет!
Будет петь. Щебетать. И никак не иначе.
Не придут к нам Огромные Вящие Плачи!
Будут ягоды в реках расти — ягод рябы!
Но когда я сюда прихожу: всё же слышу,
как цветы набухают в огромные глыбы,
как цветы распускаются жарко и рыже.
И как чай на балконе из самовара
наливают купцы, пьют его до одышек,
славя небо. И солнце. И государя.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ГОРЬКИЙ

...а в этом городе, где каждый корешок
впивается, втекает в корень неба.
Писатель Горький! Лучше нет совета,
чем о безумстве храбрых. А ещё
о поисках себя в широком мире,
высоком мире. Слушать звоны струн:
кричать горящим лесом во Сибири,
вопить утопшим городом Тулун.
Быть взорванным там, в атомной подлодке,
безумство храбрых — из него мир соткан,
вы верили в бесстрашие коммун.
Мы верили им тоже многократно.
Я — школьницей читала громко клятву
из этих же годов шестидесятых,
породы матриц, радуг и собратьев.
Мы, словно бы из сорта редких яблок
вот в этом городе, где каждый корешок
впивается, втекает в корень неба.
В безумстве храбрых каждый крепок, цепок,
вот этот хор кричащих драм, тревог.
В народном горе — быть всегда с народом!
быть соколом, взмывающим восходом
вот в этот лес, горящий, в этот ток,
искрящий, пролегая знобким телом,
а в теле: рёбра, кости, позвонок.
Да, хватит о любви писать. Заело,
поэты вас! Иной теперь итог.
Да сколько можно отвергать по правде?
А люди, люди — им безумство храбрых,
им смелый сокол, раны от гвоздей.
...Мы все давали клятву и присягу
на красно-алой правде площадей!

НА ПЛОЩАДИ

На площади Горького — вы с пьедестала,
спешащий, взираете. Плащ ваш листает
крылами секунды, мгновения, дни.
Одни лишь глаза, о какие они!
Так смотрит, наверно, летящая птица,
так смотрят, наверно, столики, столице
из прошлых, космических, радостных сфер,
так смотрит мечтатель, моряк, флибустьер,
так смотрит возвышенно из СССР
мой друг пионер.
Я их узнаю. И вас, Горький, познала.

Вы были — наш город Вы больше, чем свой,
из камня, из бронзы вы да из металла.
Огромный, живой.
И пусть говорят, пусть твердят про ошибки...
Мы все ошибались. И нынче ошиблись.
Ошиблись вчера. И ошиблись мы завтра.
Большую любовью. Землёю. И парком.
Но наши ошибки, наверно, не зря!
Наверно, они всем нужны и вам тоже.
..Вот я говорю — и мороз мне коже:
как взгляд ваш глубок. О, какие глаза!
Что драма у вас человечья, большая,
что сын ваш погиб. И вам доля такая:
И вам подпирать все его небеса.
Глядеть и глядеть.
О, какие глаза!

В ПАРКЕ

Вдоль-поперёк исхлёстанной души
бродить ли мне так жарко, так остужно?
Вам в памятнике в этом парке жить,
водить с деревьями вам истинную дружбу.
Там справа тир, кафе, базар левей,
а вдоль тяжёлых липовых теней —
шашлык и суши...
Июль у нас сейчас, как будто осень.
Ловлю ладонь я клёна. Кто б ещё
сказал, как вы, про эти рифмы в прозе?
А, может, ну её! И выдрать оси?
И зашагать? Под каменным плащом
живое: «не предам тебя!», стальное
под арматурой рваной — нутряное:
«ты — человек!», под сломанной мощью
такая боль! Не приведи столкнуться...
И вновь собрать на сотни революций,
в Нью-Йорке деньги? Кто б такие дал!
Вам город жёлтых буйволов и пышек
рвёт сердце гвоздодёром. В терминал
бы вставить карточку сбербанка! Из-под мышек
выкрашивая сердца скорлупу!
Да видели бы вы их всех в гробу
в пылу двустий.
Дать всем по вере, никому по лжи:
бездарные с бездарными в тиши.
Вам рвать булыжники
из каменного чрева.
Воскреснуть навсегда, нет, не из мёртвых,
а из живых, из всех семи смертей.

Из этих гипсовых, литых, тугих костей
в разрыв аорты.
В тишину напева.
Я клёна чуть прохладную ладонь
кладу себе в ладошку. Две ладони.
А в сумке с эсэмеской телефон
мой с непрочитанной. И Горький — в павильоне
не свержен.
Не повержен.
Не спасен.
...Но ось крепка. И каменист бетон.

ПАМЯТНИК

Гипсовый Алексей Максимович
на Автозаводе у лица номер тридцать шесть,
таких называют у нас старожилками
и певчий наш парк, и деревья окрест.
И руки объявшие ширь необъятно
и взгляд! Кто такой бы во снах сочинил?
Вам дать бы трубу музыкальную, альтом
звучала бы скрипка, вдоль школьных перил
летели бы листья. И слушали дети
безмерную музыку! Анна, молчи.
Не надо об этом.
Трубят сквозь столетия
писатель в ночи.
Вот так восклицать, чтобы тело впивалось,
чтоб тело само вострубило сквозь гипс.
О, чём вы, писатели? Молодость-старость...
О чём вы, писатели? Малая-малость...
Про ярость пишите! Два неба чтоб сгрызть!
Два солнца! Спасайте вы русский язык!
Умрите на русском. На нашем советском.
Казните себя этой казнью стрелецкой.
И вырвите также, как Данко свой крик!
Вот гипсовый Горький шагнул с пьедестала,
в охапку — детишек. Труба из металла
воспела! Рука с арматуры свисала
и дыры зияли разверсто в груди.
О, Анна, молчи! Заверни хлеб и сало
и вместе иди!
Со всеми мы вместе. С несгибающим народом.
С непроданной родиной. Автозаводом.
Трубите, трубите, писатель, родной,
любимый хороший! А гипс в крохи, крошки
сдирается вместе с белёсою кожей.
Труба воспаляется вместе с губой.
И это ваш бой. Ваш немислимый бой,

глубинный, святой. Что скажу я вам, дети?
Вы слушайте музыку, ибо воздеты
сакральные звуки, где тридцать шестой
лицей на проспекте, что Кирова, справа
от мною любимой большой проходной.

МИФЫ

К пристани «Бухты благополучия»
подошёл теплоход «Глеб Бокий»,
из окон Кримкова был виден пригорок,
как раз для такого случая.
Пригорок, пригорок, страна Соловецкая,
скажи, расскажи, ты же видел всю правду,
как мальчик четырнадцати лет беседовал,
«а был ли тот мальчик» примкнувший к отряду?
Люблю, если мученик также, как Горький!
Люблю, когда пишет он про Короленко,
люблю, когда очерк такой — томный, волглый
и чудаковатый маленько!
Мне страшно одно: то, что Горький уйдёт вдруг,
уедет с высокого — с башню — пригорка.
Он видел рождение от схваток до потуг,
вот это писатель,
вот это наш Горький!
Как после искать нам такого, как Горький?
Как после взывать нам к нему: «Отче-Горький!»
Как после воспеть, ах, вы батя-наш Горький.
Так близко быть к власти, пройти через створки.
Пойди, поищи ты такого же тоже
красивей, могучей, столетней, моложе.
Он ехал и ехал. Он шёл по Приволжью,
он памятником встал гранитным с подножьем.
Пальто трепыхается складками кожи,
один встал за всех под метели и дождик.
Мой Горький — не камень.
Идём же, идём же!
По синей дороге, сбивая в мозоли,
все сорок сапог мы сносили до воя,
сорвали свои каблуки напрочь, втайне,
как Горький, и мы провалили задание!
Нам солоно надо, а мы сладко жили,
к двенадцати, еле проснувшись, вставали,
ленивые — мы! Пахнет сеном затылок
писательства нашего, кто в белом зале!
По клеверам, мятам иди! Это просто.
Глаза сине-карие. Отсвет в них взрослый.
И если бы дали такое задание,
его провалила я тоже бы, знаю.

Да, да, Соловки — это горько и плохо,
да, да, Соловки — это грубо и мерзко.
Так было. Такая сквозила эпоха:
наивное, грешное, жесткое тесто.
Но многое я отдала бы, чтоб снова,
хотя бы на месяц вернулся к нам Сталин,
ввалился бы, топая он сапогами:
— Я вам задавал! Провалили задание?
Тогда в Соловки вас. И будьте здоровы.
И всё бы затмилось. И всё б почернело.
А был ли он, мальчик?
Нет тела, нет дела.
И снова, и снова идти нам, идти,
нам всем, провалившим задание, сюда
вот в эти коварнейшие Соловки,
вот в эти страшные нам Соловки,
где хлеб со червями,
где с гнилью вода.
Где мёрзнуть: одежд не хватает для тела.
Где пухнуть от голода. Да вшей кормить.
Мы были — кем были.
Мы зрели, кем зрело.
Сплочённым народом — Людьми!
Из этих сараев, из этих лабазов,
из Пушкиных, Лермонтовых, из Тарасов,
солильни, пластальни, пекарни, кожевни,
мы стали, кем стали,
желали, хотели.
А Горький, а Горький из меди и ткани,
но всё ж навсегда не исполнил задание.
А дерево, что пораскинуло ветви,
качаю я ствол, ах, ответь мне, ответь мне!
С чего так рябиново мне и так горько?
И где же тот мальчик, где Горький?
Иду я с Еленой — свет-Николавной.
Мы ссорились раньше. Теперь всё исправно.
И мы провалили с ней тоже задание.
ей голову я обхватила руками,
снега не упали, но больно заранее,
дожди не свались, нет камня на камне,
мы с ней провалили своё же задание...
Ах, дитяtko, солнышко, может, спасём мы
хотя бы мальчишку? А был ли он — мальчик?
Ужели схоронен под этой сосёнкой?
Под ёлкой, где солнце и где одуванчик?
Кричу — он не слышит.
Ору — он не слышит.
Трясу я осину — она еле дышит.
И тоже не слышат — ни груши, ни вишни.

Я ногти срываю до сизых болячек.
— Услышь меня, Горький!
Услышь синеокий!
Не слышит. Не слышит. Не слышит, не слышит!
Качни что ли веткой, надежду хоть дай мне,
ворону, что села на ветку, устало
сгони, отпугни, чтоб она упорхала,
да ягоды скинь вниз на сумрак подталый,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.